

А. М. ГРАЧЕВА

Из истории контактов А. М. Ремизова с медиевистами начала XX века (Илья Александрович Шляпкин)

Вся долгая творческая жизнь одного из крупнейших писателей начала XX в. Алексея Михайловича Ремизова прошла под глубоким воздействием художественного наследия Древней Руси. Увлеченность древнерусской культурой и контакты с занимающимися ею специалистами возникли еще в самом начале его писательского пути. В середине 1900-х гг. Ремизов не только начал свободно читать рукописи, но и овладел умением писать различными типами древнего письма: уставом, полууставом, скорописью (предпочитая последнюю). Освоив виды кириллического письма, Ремизов особо заинтересовался глаголицей. В архиве писателя сохранилась учебная тетрадь Ремизова с образцами глаголического письма, содержащая алфавит с отраженной в нем динамикой изменения буквенных начертаний и отрывки текстов разного времени, например из «Зографского евангелия» XI в., «Хорватского бревиария» XIII в., хорватской богослужебной книги XV в. и т. д.¹

Анализируя причины интереса Ремизова к глаголице, можно отметить не только увлеченность филолога-неофита специфическим пластом древней культуры. Для Ремизова, чье художественное сознание включало в себя многие категории мироощущения русского модернизма начала века, глаголица — это своеобразный эзотерический язык, понятный, ныне лишь избранным и потому имеющий сакральное значение, язык, придающий простым предметам особый, экзистенциальный смысл. Подобное понимание причин обращения писателя к этим забытым письменам было присуще, например, Андрею Белому, который в переписке с Ремизовым поддерживал своеобразную «игру» древними литерами.² А со времени учреждения в конце 1900-х гг. ремизовской шуточно-утопической Обезьяньей Великой и Вольной Палаты глаголица стала тем «официальным языком», на котором зачастую писались обезьяньи грамоты, возводящие друзей писателя в разные звания членов этого фантастического ордена, и на котором всегда подписывался его глава — обезьяний царь Асыка.³

¹ ГПБ, ф 634, оп 1, ед хр 16, 16 л

² См., например, записку Белого Ремизову, относящуюся к 1908—1909 гг., с обращением на глаголице (ГПБ, ф 643, ед хр 57)

³ Позднее Ремизов вспоминал об истории с употреблением глаголицы, случившейся в революционном Петрограде 1920 г и чуть не кончившейся для него трагически «Был случай, обезьянья палата держалась на ниточке. Обезьянье делопроизводство велось не на кириллице, всем понятной, на ней пишут книги и прошения, а на „глаголице“, о которой редко кто слышал. При обыске обратили внимание на фигурки — ничего понять невозможно. Сам нарком по просвещению Луначарский не понимает! Будь это в Москве, с Каменевым легко поладить, но в Петербурге Зиновьев. Пришлось подымать Горького и научить его ответу. И Горький объяснил Зиновьеву, что фигурки — глаголица, а глаголица не шифр, не криптография, тайнопись, а буквы нашей первой азбуки» (Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж, 1981. С 189)

С середины 1900-х гг. Ремизов стал заниматься переработкой апокрифов, пользуясь советами многих крупных медиевистов того времени, таких как А. А. Шахматов, М. Н. Сперанский, А. И. Яцимирский, В. Г. Гейман, которые помогали ему в поисках необходимых материалов. В ученой среде увлечение Ремизова глаголицей воспринималось как милое чудачество древника-любителя и однажды послужило поводом для чисто филологической шутки.

8—12 февраля 1912 г. Ремизов отправил А. И. Яцимирскому письмо, написанное на глаголице: «Многоуважаемый Александр Иванович [!] Очень благодарен Вам и Прасковье Ивановне (жена Яцимирского. — А. Г.) за ваш прием ласковый[.] Буду просить ваших советов и указаний. Книги мои пришлю вам как только выйдет седьмой том. Алексей Ремизов»⁴.

В своем ответе Ремизову (ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 247) П. И. Яцимирская использовала другие забытые древнерусские письмена, которые писатель не разгадал. Итогом этого «ученого» поединка явилось следующее письмо Яцимирского от 9 марта 1912 г.: «Глубокоуважаемый Алексей Михайлович. Пишу Вам просто „по-православному“, благодарю за „Сказки“ и особенно за книги „Отреченные“.⁵ Будет время, непременно напишу в „Ист(орическом) вестнике“ или у славян.⁶ Прасковья Ивановна начала уже читать, а я пока пересмотрел только. Ваше письмо глаголицей имело большой успех, читали его академики, наши профессора. (...) Видно, Вам не удалось прочитать письмо Прасковьи Ивановны, иначе Вы пришли бы к нам. Чтоб помучить, открою секрет: письмо написано пермскими письменами, и ключ найдете в любой Палеографии, напр(имер) Карского. А посоветовал написать так А. А. Шахматов. Еще раз спасибо за книги и автографы — совершенно очаровательные».⁷

Вспоминая об истоках своей увлеченности древними рукописями, Ремизов называл двух человек, способствовавших, хотя и не в равной степени, формированию его интересов: «Премудростям палеографическим, чтению и письму глаголическому, виноградной вязы, юсам и аористам научила меня ученица покойного профессора Ильи Александровича Шляпкина Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, действительный член Санкт-петербургского археологического института. Стал я понемногу старину читать, стал в старине разбираться».⁸ Жена писателя была известным специалистом-палеографом, в 20—30-е гг. читала курс славянской палеографии в Сорбонне. Всю жизнь она помогала Ремизову в его занятиях древнерусской литературой. Знакомство Ремизова с ее учителем — профессором Шляпкиным было довольно недолгим, но оставило приметный след в жизненной и творческой биографии писателя.

Илья Александрович Шляпкин к моменту его встречи с Ремизовым (в середине 1900-х гг.) был пожилым маститым профессором, преподававшим в Петербургском университете, Высших женских курсах, Археологическом институте, являлся членом-корреспондентом Академии наук и статским советником. Предположительно знакомство Ремизова и Шляпкина произош-

⁴ ЦГАЛИ, ф. 420, оп. 1, л. 2

⁵ Ремизов А. Собр. соч. СПб., 1912. Т. 6. Сказки, СПб., 1912. Т. 7. Отреченные повести

⁶ Известна рецензия Яцимирского на первое издание части «Отреченных повестей» (Ремизов А. Лимонарь. СПб., 1907). Ученый высоко оценил ремизовские переработки апокрифов и писал, что литературная эволюция писателя идет «от индивидуализма к творческому коллективизму, от символа к мифу () Русская природа и русская старина стала ему родной и понятной» (Ист. вестн. 1908. Апрель. Т. 112. С. 1094).

⁷ ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 248, л. 3—3 об.

⁸ Ремизов А. Россия в письмах // Раннее утро. 1918. № 95. 26 мая. С. 1

ло через Серафиму Павловну и было вызвано потребностью в научной консультации. Но в то же время Шляпкин заинтересовал писателя как живое воплощение того типа «оригинала», чудака, который он не раз в тонах то юмора, то кошмарного гротеска воплощал в своих произведениях.

И. А. Шляпкин (1858—1918) был сыном талантливого крестьянского механика-самоучки, рано остался без отца и был воспитан дядей — мелким чиновником.⁹ Крестьянское происхождение мешало ему поступить в гимназию. В одних документах его условно записывали «сыном ремесленника», в других — «купеческим племянником». После успешного окончания гимназии он поступил и блестяще окончил Петербургский университет. Преподавал во многих гимназиях, был домашним учителем, в 1891 г. защитил магистерскую диссертацию «Св. Димитрий Ростовский и его время». Несмотря на неустанный труд, Шляпкин постоянно испытывал материальные затруднения, ведя полную тягот жизнь рассчитывающего лишь на себя разночинца. Только в 1900 г. в 42 года он был назначен экстраординарным профессором Петербургского университета и смог сосредоточиться на преподавании в высших учебных заведениях.

Еще будучи студентом-филологом, Шляпкин женился на курсистке-математичке. Брак был несчастлив и скоро распался. Больше Шляпкин не женился. Долгое время нуждаясь и мыкаясь по углам, при первой материальной возможности он построил на родине (в Белоострове) дом, где и поселился вместе со своими многочисленными коллекциями разнообразных предметов старины. По характеру Шляпкин был мягким человеком, сознательно театрализуя свою жизнь, превращающим серую обыденность в карнавальное действо, хлебосольным хозяином, неистощимым рассказчиком забавных историй. В шуточной автобиографической заметке под заглавием «Для немногих» Шляпкин писал: «Антиквар в душе, собрал коллекцию русских древностей, картин, гравюр и библиотеку, имеющую в нынешнем 1907 г. свыше 10 000 названий. Пополнял ее из разгромленных библиотек О. М. Бодяновского, А. Н. Попова, О. Ф. Миллера, Н. И. Надеждина, К. А. Коссовича, Эттингера, М. Н. Островского, А. Н. Пыпина, Г. В. Есипова. Всего больше любил в свое время все сладкое, все таинственное (был знаком с А. Н. Аксаковым и бывал на настоящих спиритических сеансах, хотя и не спирит), редкие книги, хорошие издания и достаточно увлекался женской красотой. Выпивать никогда не любил, но в гастрономии не был чужд изящного вкуса. В 1897 году выстроил себе на родине дом, куда перевез разбитое сердце и все свои книги и коллекции. Природа и время утешили горе, а хорошее питание и деревенский воздух распространили мою поэтическую фигуру до исполинских размеров (отсюда — товарищеское прозвище «Белый Слон»). Живу эпикурейцем по привычкам, мистиком — по созерцанию, антикваром и коллекционером — по склонностям (...) Писал я много и всегда старался найти что-нибудь новое и неисследованное. Лучшими и более важными своими работами считаю: „Шестоднев Георгия Писидийского“, „Св. Димитрия Ростовского“, „Сочинения Грибоедова“, „Царевну Наталью Алексеевну и театр ее времени“, „Сказку об Ерше Ершовиче“, „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“, „Древние русские кресты“, сборник „Волну“ (имеет автобиографический интерес).¹⁰ Всего наберется моих работ до сотни, и думаю,

⁹ См.: Буш В. В. Илья Александрович Шляпкин: (Некролог). Пг., 1920.

¹⁰ Библиографию трудов И. А. Шляпкина см. в кн.: Очерк научной деятельности профессора И. А. Шляпкина: (К 25-летию его научной деятельности) / Сост. А. А. Громов. СПб., 1907.

что в ученом отношении разменялся на мелочи, но предполагаю самоуверенно, что и сие когда-нибудь и кому-нибудь пригодится».¹¹

Шляпкин неоднократно помогал Ремизову в поисках текстов апокрифов, пересказанных писателем в книге «Лимонарь» (первое издание — СПб., 1909; второе — СПб., 1912). Второе издание книги Ремизов послал многим ученым-древникам, в том числе и Шляпкину. Профессор поблагодарил Ремизова за книгу, но не согласился с его новейшей, с точки зрения Шляпкина — еретической, трактовкой одной из «отреченных» легенд, названной Ремизовым «Страсти Господни». Шляпкин писал: «Я весьма признателен Вам за Вашу добрую обо мне память и за надпись в книге Вашей и в то же время мне очень тяжело. Тяжело мне, по-своему православному верующему человеку, за кощунственный тон одной из легенд Вашего Лимонаря (у меня есть и 1-е издание). Спаситель И. Христос в сознании русских православных людей всегда Царь Славы, от коего сокрушаются веревы вечные ада и содрогаются сатана и присные, а в Вашей легенде? Или это влияние Ге и лжереализма? Так зачем же воскресать Ему? этому скелету (да еще вонючему в 1 издании?). Пилатовское: се человек (даже и реальное) не так представлено: это антитеза славы и царства и антитеза человека покрытого кровью и язвами. Нехорошо, нехорошо...».¹²

Ответное письмо Ремизова от 23 февраля 1912 г. представляет собой одну из редких для его раннего творчества попыток автоистолкования своих древнерусских переработок: «Глубокоуважаемый Илия Александрович! Над „Страстями“ я много сидел и думал, и черкал и перечеркивал. Все не выходило у меня того ясного изображения, которого хотелось мне достигнуть. О кощунстве не было у меня и мысли. Грех мой в том, что не сумел я изобразить ясно, и грех и беда моя в этом. Во 2-ом изд(ании) я решил просто вычеркнуть те фразы, которые дали повод обвинять меня в умысле, от которого я был далек, и в поступке, в котором ни душою, ни телом невиновен. Я хотел представить наваждение Сатанаила и тот соблазн, который пойдет от Сатанаила, и то отчаяние, от которого изомрет душа.

„Два дня и две ночи безумствовал Сатанаил, вселяясь на сердца на тайные... отравляя сердца безумием, соблазном, отчаянием“. „Демонской силой Сатанаил отвел глаза человека... навел на души людей ночь безумия, погрузил душу в бесовский сон, и темный бесный сон сковал вселенную...“.

Тут в эти 2 дня и 2 ночи дело происходит не на земле и не среди живых людей, а в царстве душ человеческих, которые возродятся к жизни на земле. В эти 2 дня и 2 ночи Сатанаил „безумствовал“ над всей вселенной. И дальше описывается не то, что было, а то, что станет в душе людей, все искушения, какие после пройдут перед душой человеческой. И для тех, кто соблазнится, „изсякнуть источники“, „не останется вольного воздуха“ и „мера земле станет четыре шага — могила“. Чем чудовищнее Сатанинское действие, тем картина ярче — искушение сильнее, соблазн безнадежнее, победа крепче и полнее. Спасибо Вам за письмо, что написали. Уважающий Вас Алексей Ремизов».¹³ Этот эпистолярный диалог свидетельствует, что Шляпкин чутко почувствовал и не принял модернистского имморализма, пронизывающего текст Ремизова — писателя начала XX в., исследующего проблему полного господства зла в человеческих душах. Примечательно, что при подготовке первого издания «Лимонаря» этот рассказ вызвал во многом сходные возражения у Вяч. Иванова. В ответном

¹¹ ГПБ, ф. 865, ед. хр. 25, л. 8—11.

¹² ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 242, л. 2—2 об.

¹³ ИРЛИ, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 2013, 2014, л. 2—3.

письме Иванову от 22 марта 1907 г. Ремизов сделал ряд текстуальных изменений и вставок. В частности, он добавил фразу: «Демонской силой Он отвел глаза человекам...» — и в заключении отметил, что после сделанных переделок ему «кажется, что теперь вполне ясно, что все это было сатанинское наваждение».¹⁴ Однако более позднее восприятие рассказа Шляпкиным подтверждает, что главной в нем осталась неоднократно возникавшая в западном и русском модернизме тема сатанизма.

Ремизов несколько раз встречался с Шляпкиным. Одна из их встреч может быть подробно описана на основании сохранившихся архивных свидетельств.

2 мая 1912 г. Шляпкин пригласил Ремизова в гости на свой день рождения. Он писал: «Уважаемый Алексей Михайлович! Если Вы свободны 9-го (среда), буду рад видеть Вас и супругу Вашу у себя в Белоострове от 12 ч(асов) дня и до 9 вечера: будут у меня слушательницы П(етербургских) Ж(енских) К(урсов), но никаких торжеств не предполагайте. (...) Р. С. Тогда возьмете и рукописи Ваши».¹⁵ Ремизов тотчас же откликнулся: «Глубокоуважаемый Илья Александрович! Приносим Вам благодарность за приглашение Ваше. Будем у Вас 9-го в Белоострове. Алексеи Ремизов».¹⁶

Встреча Шляпкина с Ремизовым состоялась 9 мая 1912 г. и, по счастливой случайности, была подробно описана в дневнике одной из приглашенных курсисток — Е. П. Казанович, через год поступившей работать в только что организованный Пушкинский Дом. Благодаря записи в ее дневнике, можно не только в деталях представить обоих участников встречи, но и увидеть как бы воочию ту оригинальную обстановку дома в Белоострове и эксцентричность поведения его хозяина, которые были замечены и Ремизовым, а затем художественно претворены в одном из его произведений. Казанович пишет: «Между прочим, был и Ал. Ремизов, но об нем после. (...) И(лья) А(лександрович) был великолепен. Первый раз, когда я была у него с Lusignan, он принимал нас в голубой сатиновой рубахе, подпоясанный каким-то широким турецким шарфом, и в высоких сапогах. Вчера (т. е. 9 мая. — А. Г.) он был в красной с пестрым белым горохом сатиновой блузе ниже колен и длинных брюках. Насколько это было красиво, представляю судить другим, что же касается меня, то я человек (сговорчивый) (уступчивый): отчего, в самом деле, не потешить себя человеку безобидным оригинальничаньем, маленькой фантазией! Недаром же прибил он у себя в передней над дверью латинскую надпись, по-нашему звучащую: у всякого барона свои фантазии. — Хоть в этом побыть бароном!... И(лья) А(лександрович) встретил нас очень радушно. — Здравствуйте, господа, очень рад вас видеть, — приветствовал он нас (немного по-военному), протягивая всем руку. — Вы уже закусили, теперь мы можем, значит, заняться осмотром моих коллекций? Только уж вам придется разделиться на две или три группы, а то мы все не уместимся. И наверх уж я с вами не пойду, попрошу кого-нибудь из бывавших у меня студентов заменить меня; вы понимаете, господа, что мне уж тяжело лазить по лестнице. Мы конечно вполне с этим согласились, и И(лья) А(лександрович) повел часть из нас в моленную, где находились наиболее интересные из его древностей. Помещается моленная под лестницей в мезонине и представляет собой маленькую продолговатую комнату в одно окно с узорчатой деревянной решеткой. В ней стоял запах ладана и несомненно присутствовало известное настроение, как и во всем его доме, чего я опять-таки на этот раз недо-

¹⁴ ГБЛ, ф 109, карт 33, ед хр 54, л 3

¹⁵ ГПБ, ф 634, оп 1, ед хр 242, л 1

¹⁶ ИРЛИ, ф 341, оп 1, ед хр 2013, 2014, л 5

статочно восприняла; первый же раз, помню, вынесла от визита к И(лье) А(лександровичу) очень сильное впечатление. Где-то я даже записала его тогда по возвращении домой. Вещи, на кот(орые) И(лья) А(лександрович) обращал наше особое внимание, были: кресты, между которыми висели два крохотные, сохранившиеся по предположению, может быть, еще от крещения Руси, другие — XI—XII веков; старообрядческие наперсные кресты поповские и беспоповские, символические и аллегорические иконы, раскрашенная деревянная статуя „Христа Страждущего“ из В(еликого) Устюга, кажется. Работа, на первый взгляд довольно топорная, поражает потом силой экспрессии как в лице, так и в самой позе: скорбные глаза, из которых точно текут кровавые слезы, капли крови со лба из-под тернового венца, как бы распухшие и запекшиеся от жгучей жажды губы; сгорбленная, изнеможенная под бременем страданий фигура.

Все это очень хорошо для такого примитива, но как бы оно ни было хорошо и безотносительно для чего, все-таки меня немного поразила просьба И(льи) А(лександровича) закрыть его поскорее (статуя всегда стоит у него закрытая), объясняемая тем, что: „неприятно все-таки, господа, вы же понимаете; сильное и неприятное впечатление“.¹⁷ Что тут: религиозное ли чувство, сильная ли впечатлительность, или маленькая доля рисовки. Рукописей Ш(ляпкин) не доставал, показав только шкаф, в котором они хранятся, зато он с большим трудом и осторожностью вытащил далеко заставленные хрустальные и стеклянные кубки, флагу и чарки с Петровским вензелем и орлом его времени, бывавшие, мож(ет) быть, даже на Петровских ассамблеях. Потом мы вынесли с его разрешения в гостиную ларцы с разными остатками одежды старинных тканей, папки с образчиками золотых (владимирских) и серебряных кружев и плетений разных сортов, и все это рассматривали, примеряя на себя, чему подал пример хозяин, одевшись в наряд невесты перед венцом.

В гостиной И(лья) А(лександрович) указал на некоторые картины, рассказав или их историю или их значение, после чего мы двинулись в кабинет. Там мы услышали историю письменного стола, за которым писал Белинский в редакции „Телескопа“, погодинского дивана и некоторых на-деждинских коллекций.

И(лья) А(лександрович) достал из стола папки с разными рукописями, автографами и письмами великих людей, и все это свободно ходило по нашим рукам, т(ак) что два-три человека брали какую-нибудь папку, шли куда-нибудь в уголок и там рассматривали и прочитывали ее содержимое. В этом отношении И(лья) А(лександрович) очень порядочен и даже благороден, надо отдать ему справедливость, несмотря на постоянные его шутки вроде того, что: „вы думаете, зачем я завел эту книжечку? вот вы все распишитесь в ней, так я и буду знать, с кого спрашивать, если пропадет какая-нибудь ценная вещь или автограф“, или „пожалуйста, господа, кушать, только предупреждаю: ложек в карман не класть, т(ак) к(ак) нынче у меня серебро платоновское (имеется в виду С. Ф. Платонов. — А. Г.). Уезжая, я отдал свое ему на хранение, а он сам возьми и уедь недавно в Москву, и все ключи с собой свез; вот Надеж(да) Ник(олаевна) и дала мне на сегодня свои ложки, т(ак) что, уж пожалуйста, честью прошу, не поставьте меня перед ней в неловкое положение“. (. . .) И(лья) А(лександрович) приятно трогал и казался даже образцом благородства. Мы держали себя у него полными хозяевами, разгуливали по всему дому и смотрели, что кому

¹⁷ Вероятно, это проявление того же неприятия художественного натурализма в изображении страданий Христа, которое Шляпкин резко отверг и в ремизовском рассказе, где было подробно описано разложение тела мертвого Спасителя.

хотелось. Также висят у него в кабинете плакаты: „книг из библиотеки не просить“, между тем как сам он привозил не раз курсисткам редкие книги, рукописи и давал их на дом, даже едва зная в лицо тех, кому давал. И некоторых вчерашних гостей своих он наверное видел только в первый раз, т(ак) к(ак), несмотря на приглашение одним семинаристам, приехали и не семинаристки.

Демонстрирование своих редкостей И(лья) А(лександрович) большей частью сопровождал рассказом о том, как они к нему попали. Напр(имер), деревянного „Иисуса сидящего“ И(лья) А(лександрович) просто-напросто выкрал с чердака монастыря во время всенощной, в чем ему помогал чуть ли не отец казначей или хранитель ризницы, что-то в этом роде. А так как статую проносить надо было мимо молящейся публики и всей монастырской братии, то ее и закрыли, „вы понимаете, на случай если бы нас окликнули. Дурно, мол, сделалось человеку, и все тут. Ну да, слава Богу, все сошло благополучно“.

Некоторые археологические вещи, вроде старого оружия, бердышей, пищалей, домашней утвари и даже некоторых крестов, продал ему за бесценок какой-то сторож. кот(орый), прельстившись примером ученых копателей, вздумал сделаться археологом и самостоятельно заняться раскопкой курганов, спросил у И(льи) А(лександровича) советов и указаний на этот счет, и таким образом добыл эти вещи, проданные потом Шляпкину.

Надеждинскую, кажется, коллекцию И(лья) А(лександрович) купил на аукционе, причем благодаря тому, что он дал взятку в 300 р. судебному приставу или кому там следует, — аукцион был веден жульническим образом, и за бесценок И(лья) А(лександрович) приобрел много ценного и редкого. Были, между прочим, такие эпизоды. Покупает он письменный стол, а пристав и говорит: „к столу полагаются две подушки“, и велит положить очень редкие диванные подушки итальянской работы XVI или XVII века с папским гербом, шитым золотом. Или по распродаже крупных вещей пристав объявляет: „аукцион окончен. Все оставшиеся мелочи положите с вещами г-на Шляпкина, их нечего считать“, и пр(очее) в таком роде. И(лья) А(лександрович) хотя как будто и возмущался с одной стороны, но с другой — несомненно гордился своим умением пользоваться случаем и, по всей вероятности, признавал втайне вместе с иезуитами, что цель оправдывает средства и ради науки все возможно.

Когда уж нечего было больше смотреть и показывать, И(лья) А(лександрович) вытащил свой альбомчик с автографами и предложил просмотреть и его. (...) В альбоме было неск(олько) стих(отворе)ний Голенищева-Кутузова, Потехина, Вейнберга и пр. (...) Три последних были вместе с И(льей) А(лександровичем) членами театрального цензурного комитета, заведывавшего выбором пьес для Александринск(ого) театра, и, воспользовавшись подходящим случаем, И(лья) А(лександрович) рассказал неск(олько) эпизодов из их совместной деятельности, изображая их в лицах и стараясь по возможности передать индивидуальность каждого.

— Мы собирались обыкновенно по субботам, — говорил И(лья) А(лександрович), сложив на животике руки и озирая нас всех, как он это привык делать на лекциях, — знаете, в той маленькой комнате, возле фойе Алекс(андринского) театра. Читал всегда Вейнберг вслух. Он читал, знаете, очень недурно и умел передразнивать всех артистов, т(а)к что если какая-нибудь сцена из читаемых подходила к кому-нибудь из них, он старался прочесть ее так, к(а)к ее исполнил бы передразниваемый им артист. При этом дурачился, конечно, утрировал немного, но характер схватывал удивительно верно. У них, верно, это уж семейная жилка была, знаете

ли; ведь брат его и был актером. Мы бывало покатывались со смеху, к(а)к он изображал Мичурину: в самом трагическом месте — „ах! мне дурно...“; и первое время не знаешь даже, написано это в роли, или П(етр) И(саевич) вошел в роль Мичуриной. Это ее прием был. — Но что меня всегда поражало в этих почтенных литераторах и чего я никак не мог понять — это их ненависть друг к другу; буквально ненависть, прямо зверское озлобление к(а)кое-то. Ведь все же, все это были люди выдающиеся, живущие преимущественно духовной жизнью, — и т(а)кие мелкие, земные чувства. Кто их знает: зависть ли тут играла роль, желание провалить друг друга, подставить ножку, — не знаю; просто, мне думается, печени у них были испорчены у всех: стары ведь уж были, немудрено! К(а)к сейчас помню такой случай. Устраивал к(а)к-то Вейнберг у себя пирог и пригласил, конечно, к(а)к водится, всех нас к себе. И вот, вообразите, т(а)кая сцена. Григорович потянул носом, поднял голову и заиграл пальцами, протягивая: „Не знаю, может быть, и буду...“. (И(лья) А(лександрович) постарался передать нам интонацию и выговор Григ(орови)ча.) — Это мы еще посмотрим!.. — в свою очередь прошамкал и Потехин. Ну, затем Вейнберг обратился ко мне: „И(лья) А(лександрович), надеюсь на вас“. Я, конечно: — Покорно благодарю, постараюсь быть. — После этого спускаемся мы с лестницы. Впереди я с Вейнб(ер)гом, сзади — Потехин с Григоровичем. Вейнберг не видал их, да к(а)к прошипит мне вполголоса с этакой, знаете, злобой, что даже к(а)к-то жутко стало: „Хоть бы скорей околевал этот старый пес“, — понимаете, это про Потехина, что-то в т(а)ком роде! Ужасно не по себе мне стало. А тут Потехин, шедший как раз позади нас, вдруг поскользнулся и упал (или оступился только, не помню уж. — Е. К.). Что ж бы вы думали? Вейнберг моментально оборачивается назад, подсказывает к нему и спрашивает к(а)к ни в чем не бывало, да т(а)ким лисьим, знаете ли, голосом: „Надеюсь, вы не ушиблись, ничего себе не повредили!“. Ну, вы понимаете, к(а)к должны были действовать (на меня) подобные сцены! (...). Так делился с нами И(лья) А(лександрович) своими театральными воспоминаниями. — И Чехов прошел через наши руки. Помню, „Чайку“ я отстоял, — закончил И(лья) А(лександрович) повествование.

Тут нас попросили уйти с балкона, т(а)к к(а)к пора было накрывать на стол. Был уже шестой час. Незадолго перед тем приехал А. Ремизов (...). Весь мой интерес направился, конечно, к фигуре Ремизова, т(а)к к(а)к мне довольно знать о ком-нибудь, что он писатель, хотя бы даже и не из особенно важных, чтобы он сразу привлек мой интерес (...). О Ремизове же я не имела еще никакого своего мнения; читать его не приходилось; слышала только, что он что-то чудит. Поэтому я устала на него с большим любопытством.

Я еще никого не встречала, кто бы т(а)к подходил по внешнему облику к типу Квазимодо, к(а)к Ремизов. Он несомненный урод, но что-то есть в этом уроде притягивающее к себе; чувствуется во всей его фигуре к(а)кая-то сосредоточенность в себе, к(а)кой-то свой мирок, в который нет доступа постороннему; чувствуется, что он и сам совсем особенный, отличный от всех людей. Точно он питается не теми же ростками, к(а)к и мы, не из общей всем нам почвы. В нем есть сходство с Сиповским в лице, но последний со своей пошлой физиономией и деланной мефистофельской складкой кажется прямо уродом рядом с (этим) Квазимодо-Ремизовым, несомненно заключающим в себе к(а)кое-то внутреннее благородство. В нем нет ни тени вычурности, ничего, похожего на рисовку; наоборот — масса простоты и, может быть, даже застенчивости, или просто отчужденности. К сожалению, заговорить с ним было никак невозможно, т(а)к к(а)к

сначала он ушел с И(льей) А(лександровичем) в моленную и о чем-то долго совещался с ним там по секрету, а потом все время держался особняком и упорно молчал. (...) Во время обеда Ремизов сидел за столом на балконе, куда я идти побоялась из-за своей простуды; забрался, говорят, в самый угол и также все время молчал. (...) Незадолго до обеда И(лья) А(лександрович) скинул свою красную рубаху и очутился в европейском костюме, к(а)к он сам сказал, т(о) е(сть) крахмальной сорочке и синем пиджаке, одетом на нем под рубахой. Для чего нужен был этот маскарад — неизвестно; просто хотелось человеку почудачить; переодевание к обеду было другое чудачество, по поводу которого он не преминул тут же произнести к(а)кое-то стихотворение об английских причудах русских, после чего И(лья) А(лександрович) добавил: „этим стих(отворе)нием я сам себя высек“. Ну и за обедом И(лья) А(лександрович) прочудачил в третий раз: он заставил нас встать и прочел молитву предобеденную, а после обеда — вторую, что повторил и за другим, „музыкантским“ столом на балконе. Читал он при этом именно „к(а)к пономарь“, т(а)к что вряд ли его чтение сопровождало к(а)кое-нибудь благоговейное чувство.

Встав из-за стола, мы начали прощаться (...) когда нас осталось человек 15 вместе со студентами, И(лья) А(лександрович) вынес нам неск(олько) экземпляров своей статьи о Толстом и брошюрки ученика его Громова „о научной деятельности И. А. Шляпкина“ с приложением его портрета — и со всей возможной торжественностью вручил нам их на память. Любит человек торжественность, что и говорить; но выходит и это у него крайне безобидно, точно дитя тешится (...) Т(а)к закончился проведенный в Белоострове день, и мы, от души поблагодарив ласкового хозяина за радушный прием и расписавшись в новом уже альбомчике, — тронулись в путь. Ремизов, кот(орый) просил И(лью) А(лександрови)ча указать ему литературу о Китоврасе, начертал что-то глаголицей, чего я уж никак разобрать не могла.¹⁸ На следующий день — 10 мая — Ремизов написал Шляпкину такое письмо на глаголице: «Глубокоуважаемый Илья Александрович! Хочется мне поблагодарить Вас глаголицей за Ваше доброе гостеприимство и вниманье. Как сказано Ва[м], мы будем у Вас в июне. По телефону сговоримся. Серафима Павловна тужила очень, что хворь ей не позволила быть у Вас в день Вашего рождения. О старом Петербурге с радостью готова делать. Алексей Ремизов».¹⁹

Сохранившиеся документальные свидетельства дружеских встреч Шляпкина и Ремизова, подробное описание быта и личности старого профессора, сделанное Казанович, — все это позволяет сделать реальный комментарий к одному из ремизовских произведений этого времени — рассказу «Глаголица», опубликованному в газете «Речь» (1911, 25 дек.). Сюжет рассказа таков: у статского советника в отставке, одинокого чудака Александра Александровича Корнетова, по вечерам собираются друзья и все поочередно рассказывают разные истории, иллюстрирующие призрачность обыденности, таящей в себе бессмысленность или мистику. Подробное описание быта и привычек Корнетова составляло содержание новеллы, обрамляющей целую цепочку других повествований. После публикации рассказа в петербургских научных кругах поползли слухи, что в лице Корнетова в пасквильном виде изображен профессор Шляпкин. Для про-

¹⁸ ГПБ, ф. 326, ед. хр. 18, л. 18, 20—26 об., 30 об.—33.

¹⁹ ИРЛИ, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 2013, 2014, л. 7. Написанное глаголическими буквами письмо приводится в подстрочном переводе Шляпкина. При публикации введены необходимые пунктуационные знаки.

верки подобных утверждений достаточно сопоставить текст рассказа с реальными фактами жизни Шляпкина.

Рассказ «Глаголица» начинается с прямого намека автора на прототип героя и, одновременно, с авторского же отмежевания от подобного утверждения: «Путейский ревизор, статский советник в отставке, Александр Александрович Корнетов единственный на всем земном шаре писал письма и всякие дружеские послания глаголицей. Как известно, глаголица, вытесненная кириллицей, мертвая грамота, и никто до сей поры толком не знает, откуда она и кто ее на свет пустил. А от всей премудрости уцелело наперечет несколько ветхих памятников, над которыми и трудятся ученые, съевшие собаку не только в нашей прародительской грамоте, но и в самой эфиопской. Корнетов не ученый, нет у него ни трудов ученых, ни орленого золотого значка, но и без всяких отличий как ловко, как бережно, ну, так затейливо выводил он крючочки и ставил крестики, впору тому же ученому да книжному справщику».²⁰ Тщательно отвергнув предположение, что герой — ученый, занимающийся древними литерами, повествователь рисует образ одинокого собирателя всяких редкостей, пародийно представив его как коллекционера «пустяков» и «мелочей». Читатель, знакомый со Шляпкиным, мгновенно вспоминал его домашний музей, полный всякой всячины. Далее сообщается, что из-за любви к глаголице от героя ушла жена, и «проницательный» читатель сразу же мог припомнить несчастливый брак Шляпкина с курсисткой-математичкой. Корнетов изображен как гостеприимный хозяин, рассказывающий гостям массу смешных или страшных историй, случившихся с ним самим или связанных с окружающими его вещами и предметами. При этом разговорные интонации героя рассказа очень сходны с манерой речи Шляпкина, переданной в записях Казанович. В рассказе дано описание квартиры Корнетова: «Что ни комната, то свое название. Кабинет — неподобная комната в семь углов — избушка ледяная, тут Александр Александрович проводил за делами дневные часы свои. Соседняя с кабинетом комната — избушка лубяная или хворостяная, служила она у Корнетова моленной. Затем большая комната — палаты пировые, брусяные, а из пировых брусяных палат ход в самую маленькую комнатенку — в логовище» (с. 214). Напомню, что специальная комната-«моленная» была в доме Шляпкина. Повествователь сообщает, что множество гостей собирается у Корнетова два раза в год: в день Симеона Летопроводца и на Святках: «И кого только не набиралось на Кавалергардскую провести на высотах у Корнетова веселый вечерок, кого тебе надо, изволь: и старики-моховики, и молодежь желторотые, и тихие, и крикуны, и ссорщики, и наустители, и философы. (...) И, конечно, во всем, во всех разговорных словах коноводил сам неутомимый глагольник Александр Александрович» (с. 215—216). Такой же обычай был и в доме Шляпкина. По свидетельству его биографа В. В. Буша: «...раза два в год — обыкновенно на Рождестве и на Пасхе — у „белоостровского отшельника“ собирались студенты и его бывшие ученики. Иногда заезжали „солидные“, с „именами“. В эти дни хозяин с утра до позднего вечера всецело принадлежал гостям. Разговоры на книжные темы сменялись показыванием рукописей и автографов, редких книг (...) И каждый гость, уезжая, чувствовал, что этот день в его жизни не потерян...».²¹ Герой рассказа Ремизова увлекается всем чудесным и мистическим. Подобное же влечение было присуще и Шляпкину. Как вспоминал его соученик по гимназии

²⁰ Ремизов А. Глаголица // Ремизов А. Весеннее порошье. СПб., 1915. С. 211. Далее ссылки в тексте по этому изданию с указанием страницы.

²¹ Буш В. В. Илья Александрович Шляпкин. С. 15—16.

В. Г. Дружинин, Шляпкин еще в детстве под влиянием знакомства с писателем Н. С. Лесковым и католическим патером Рокитским имел тягу к мистицизму и ко всему таинственному, которая сохранялась у него в течение всей жизни.²² Наконец, внешность Корнетова также одновременно и резко противоположна внешности Шляпкина, и сходна с ней в плане ее театрализации колористически ярким костюмом: «Сам Александр Александрович особенный, (...) тоненький, тоненькая шейка (вспомним «исполинские размеры» фигуры Шляпкина. — А. Г.), ну, словно курилка, нос — багрецова пуговка, усы шипильные. А платье на нем сукна солдонова, чулки васильковые, маковый галстук и на плечах вишневый теплый платок (ср. неоднократно переодевания Шляпкина в яркие одежды, приведенные в описании Казанович. — А. Г.)» (с. 214—215).

Таким образом, анализ рассказа подтверждает, что прототипом Корнетова в значительной степени действительно было Шляпкин. Имеется еще одно доказательство этого. Шляпкин, которому сообщили о касающемся его подтексте рассказа, сам внимательно прочел его. В архиве ученого сохранилась вырезка из газеты «Речь» с текстом рассказа и пометами Шляпкина.²³ Он подчеркнул все отрывки текста, которые могли бы быть сопоставлены с обстоятельствами его жизни, начиная с совпадающего отчества «Александрович», чина героя — «статский советник», обстоятельств ухода жены, характеристики его сослуживцами как «трудного человека», больших съездов гостей два раза в год, описания гостеприимства и т. д. Пометы показывают, что Шляпкин узнал себя в герое рассказа, но оценил мягкий юмор и сердечную теплоту, с которой изображен Корнетов, и оставил под текстом резюмирующую запись: «Предполагают, что Корнетов — я, Шляпкин. Кой-что, особенно в обстановке, похоже, но и все. Это не пасквиль».²⁴ Добродушное отношение Шляпкина к рассказу отмечено и в письме Яцимирского к Ремизову от 9 марта 1912 г.: «Кстати, Шляпкину кто-то говорил, будто в рассказе „Глаголица“ выведен он. Илья Александрович, конечно, не верит. Он слишком умен для этого, а Ваши писания знает».²⁵

Книжник и чудак Шляпкин во многом, несомненно, послужил прототипом героя рассказа. Но имелся и другой всем известный любитель глаголицы, также склонный к розыгрышам и театрализации своего бытия. Им был сам Ремизов, некоторыми черточками своего характера напоминающий Шляпкина. И в данном случае в процессе работы над рассказом произошло столь излюбленное Ремизовым фантазмагорическое переплетение в одном литературном персонаже черт реально существующего лица и личности самого автора.

В дальнейшем развитие творческого метода Ремизова шло в направлении все большей субъективации повествования, экспансии авторского «я» во все пласты художественной структуры текста. В связи с этим закономерна дальнейшая трансформация литературного персонажа Корнетова. Он стал главным действующим лицом написанной в 30-е гг. книги Ремизова «Учитель музыки». В ее состав в переработанном виде вошел и рассказ «Глаголица». Изменение образа Корнетова заключалось в стирании черт, восходящих к Шляпкину, и усилении автобиографического начала. Теперь Корнетов стал учителем музыки, русским эмигрантом, живущим в Париже. В конце книги

²² Дружинин В. Г. Воспоминания об И. А. Шляпкине: (По случаю 100-летнего юбилея 3-й СПб. гимназии) // ГПБ, ф. 865, ед. хр. 25, л. 4.

²³ ИРЛИ, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 333.

²⁴ Там же.

²⁵ ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 248, л. 3.

Ремизов специально объясняет мозаичный (монтажный) принцип построения «Учителя музыки», в котором не только внешний мир дробится на отдельные явления, сцены, как бы вновь собираемые автором в единое целое, но и внутренний мир авторского «я» распадается и материализуется во всех героях повествования. Ремизов пишет: «Прошу не путать никого с Александром Александровичем Корнетовым, ни из его знакомых и приятелей, это я сам. Имя Корнетову дано было еще в Петербурге в честь Александра Александровича Блока, а фамилия „Корнетов“ не столько инструментальная по профессии учителя музыки, сколько кавалерийская: заветная мечта Александра Александровича, которую он неоднократно высказывал, — „быть бы мне лихим корнетом, ездить на коне, как у Толстого в «Войне и мире», выделывать всякие ухарские штуки!“ — фамилия Корнетов дана по контрасту с его небоевым образом жизни. (...) Что-нибудь внешнее, постороннее, что называется „не-я“, „другой“, для писателя только материал, и, если он чувствует в нем себя, он его примет — „заживет в нем“. (...) Писатель подбирает материал по себе и через этот материал познает себя».²⁶ Нет возможности установить, в действительности ли имя героя было связано с Блоком или это столь типичная для Ремизова очередная мистификация: «совершенно достоверное» авторское толкование текста, выдвигающее новую гипотезу о реальном контексте рассказа. Но характерно, что одна фраза из переработанного текста является как бы прощальным намеком на человека, которого в 1910-е гг. называли прямым прототипом героя: «Не „ученый“, нет у Корнетова ни ученых трудов, ни орленого золотого значка Археологического Института».²⁷ Последние два слова — вставка, как бы возвращающая память автора к профессору Археологического института И. А. Шляпкину.

Контакты Ремизова со Шляпкиным — лишь один эпизод из продолжавшихся в течение всей его жизни дружеских и научных взаимосвязей с медиевистами. Эта тема заслуживает дальнейшего изучения, но уже на данном этапе можно попытаться хотя бы частично ответить на вопрос: для чего же нужен был Ремизову, занимавшемуся творческой переработкой древних текстов, постоянный контакт с виднейшими учеными, изучавшими те же памятники? Возможно, что одна из причин кроется в философских исканиях писателя, который, как и многие представители русского модернизма, задумывался над вопросом о сравнительной ценности двух путей познания действительности — художественного и научного и, в связи с этим, о роли и миссии творца художественных ценностей. Несмотря на то, что мировоззренческие взгляды Ремизова сформировались в тот период, когда зачастую в художественной среде научный путь познания отвергался или признавался менее значимым, чем путь интуитивного постижения мира провидцами и артистами, писатель признавал оба пути равноценными. Истина, по его мнению, возникла там, где эти пути пересекались. Именно поэтому он столь внимательно изучал все исследования о древнерусском памятнике, переработкой которого занимался. Зная все его варианты и творчески пересоздавая их, Ремизов писал свою «окончательную» редакцию памятника. Она, как ему представлялось, была выражением той же истины, только добытой путем художественного прозрения, какой была и та истина — знание о памятнике, которая возникала в результате исследования ученых.

²⁶ Ремизов А. Учитель музыки. Париж, 1981. С. 503—504.

²⁷ Там же. С. 6